



## СОДЕРЖАНИЕ

*Вместо предисловия.* Память войны . . . . . 6

### ГОРЬКИЙ ПОТ И КРОВЬ ВОЙНЫ

Пыль . . . . .	13
Нас было много . . . . .	14
Атака . . . . .	14
На рассвете после боя . . . . .	16
В окружении. Рассказ лейтенанта . . . . .	17
Женственность . . . . .	18
Мгновение великой войны . . . . .	20
Мое поколение . . . . .	29

### ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Сталинград . . . . .	34
О Сталине . . . . .	41
Разговоры с Твардовским . . . . .	48
Солженицын . . . . .	58

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ (повесть) . . . . . 60

### ИНТЕРВЬЮ

Все простить невозможно . . . . .	277
Прогнозировать судьбу Родины — все равно что объяснять любовь . . . . .	282

## *Вместо предисловия*

### ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

В жаркий июльский день шел по дороге среди желтеющей пшеницы, овейный парным теплом, тишиной, нежным пением жаворонков, то справа, то слева весело взмывающих в синеву, и думал о том, что жизнь прекрасна, когда можно видеть, чувствовать вот такое легкое небо, радость птиц, мягкое прикосновение воздуха к лицу и эти полевые запахи середины лета, напоенного солнцем.

Потом впереди на дороге увидел сельский грузовик с обшарпанными бортами, похожий на фронтной «зисок», серо-грязный от засохшей грязи; возле спущенного колеса, невнятно ругаясь, возился с домкратом загоревший дочерна паренек в майке, облупившийся нос сердито ерзал, морщился, всклокоченные волосы торчали, как у молодого петуха.

— Понятно, — сказал я, останавливаясь около машины. — Помощь нужна?

— Ни хрена подобного, — отозвался не приветливо паренек. — Сам обойдусь. И откуда он, черт плешивый, под колесом оказался? В поле на дороге — гвоздь! Вроде понарошку! Смехота в шляпе!

А я смотрел на этого загорелого паренька в проплетевшей майке, на его потрепанный грузовик и, кажется, улыбался, чувствуя нечто знакомое, близкое мне, как

воспоминание, принесенное полузабытым детством в уральской степи или войной.

От грузовика пахло пыльными проселками, горячей сухостью соломы, каким-то масляным теплом, словно бы машинным потом, как пахли фронтовые «ЗИСы» на дорогах России в те далекие годы, которые были моей военной молодостью. Да, тот же запах издавали полуторки, подвозившие снаряды к нашим орудиям, так же пахло от медсанбатских машин, только здесь примешивался душок пропитанных кровью бинтов и йода.

Но почему вдруг я почувствовал разные запахи, с которыми была связана война?

Я и сейчас помню сернистые ожоги стужи в сталинградских степях, холод орудий, так за ночь прокаленных морозом, что металл чувствовался сквозь рукавицы, помню пороховую вонь стреляных гильз, жаркий газ от горячего казенника и ледяное безмолвие звездного неба по ночам, пахнущего угрозой и предчувствием беды.

Это и сейчас я порой ощущаю в декабрьские ночи, едва опухнет неожиданно жгучим ветром, будто прилетевшим оттуда... В моей памяти навсегда остался запах мерзлого хлеба, твердого, как камень, ржаных солдатских сухарей, несказанный аромат солдатской «пшенки» из открытого котла наконец-то прибывшей кухни, такой сладостный аромат в застылой фиолетовости зимнего рассвета.

А весна? Чем она пахла? Оттаявшим черноземом, безобразным месивом разбитых колесами проселков, холодком вместе с наплывами тепла из полей, талым снегом в кюветах, возбуждающе терпким дымком махорки в ветерке над головами, нагретыми припекающим солнцем шинелями, захлаюстанными грязью, по-

доткнутыми за ремень на маршах весенних наступлений. И всех будто радостно охватывало голубыми далями с дрожащим над обнаженными полями парком, когда война отдалена за тридевять земель апрельским солнцем, голубизной простора, теплом, отступлением немцев.

Весенние дни пахли томительной надеждой, неизъяснимой верой в то, что наступит пора, и я вернусь в свое милое Замоскворечье, в свой дворик со старыми купеческими липами и голубятней в тихом переулке.

В знойном же пекле украинского лета прочно стояло горькое удушье черных дымящихся пепелищ, невыветрившийся угарный запах уцелевших печей, торчащих черными столбами среди углей и пепла. И все лето была духота сосновых урочищ, в воздухе тек запах разогретой солнцем смолы, горячего песка — и преследовала химическая приторность выхлопных газов, наносимых от немецких танков, беспрерывно атаковавших нашу батарею на подступах к Днепру.

И до сих пор помню осенний Житомир, оставленный внезапно немцами. Город был пуст, продут ветрами, холоден по-ноябрьски. Везде на вымерших улицах поздняя сырая ночь, мокрые мостовые блестели. Из-за лиловых облаков над куполом темной церкви расплылось ослепительное сияние уже предзимней высокой луны, и в этом лунном свете я видел, как жестяные листья обрывались с деревьев, падали нам под ноги, под копыта лошадей, под колеса орудий. Мы входили в неожиданно негаданно занятый нами Житомир в полной тишине. Нигде не слышно было ни голосов, ни смеха, как бывало всегда, когда удачно брали города. Солдаты молчали, ошеломленные затаенным безмолвием улиц, оголенно залитых луной, и влажным запахом осенней

ночи, заполнившей все тихой тревогой, которую иногда в предзимнюю пору я ощущаю и сейчас.

И ясно помню серый промокший день в Польше: с утра моросило, далекие тополя мутно проступали в тумане. Наша батарея, утопая колесами орудий, двигалась через разрытое картофельное поле к железнодорожной насыпи, возле которой дымились огромные бурты пшеницы, издали показавшиеся нам холмами.

Дым, прибиваемый водяной пылью, полз в нашу сторону, и скоро я почувствовал тепловатый запах тлеющего зерна, смешанный с дымком, сыростью развороченной земли, на которой узлами лежала картофельная ботва. А за смутными тополями, на краю поля, почти беззвучно рвались снаряды, звук их поглощался влагой осени. Не знаю почему, этот сложный запах того тихого сентябрьского дня не забыт мною спустя много лет.

Но чем все-таки объяснить, что чувственная память моя охотно выделяет сейчас столь немногое, неразительное, выталкивая из себя хаос запахов невезения и несчастья, острых, давящих, тошнотных: липкую сладковато-гнилостную вонь разлагающихся трупов; вызывающий озноб солоновато-пресный запах крови; гнойный запах бинтов; чесночно-луковый яд немецкого тола; забивающий дыхание пыльный ветер от танковых гусениц; прогорклость горелой брони... Законы памяти неисповедимы, неподвластны нам.

Бывает так: ты душевно спокоен, в весенних сумерках идешь по улицам, читая мокрые афиши, ощущая влажный пахучий ветер апреля; зыбко блестит асфальт на мостовой, отражая вечеряющее небо и уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы; движутся толпы на тротуарах мимо витрин магазинов — мир,

будни, смех, тот особый нестеснительный смех людей, когда в их жизни умиротворение, тишина, покой. Это стоит обычный, теплый вечер весны в Замоскворечье, и сиреневые пролеты улиц начинают зажигаться светом в окнах, вспыхивают рекламы кинотеатров, в переулках шуршат велосипедные шины и прыгают по асфальту желтые мячики света; а от перронов уставших за день вокзалов уходят поезда в затянутую дымкой даль с мигающими фонарями стрелок.

И вдруг прощальные гудки паровозов, и вечерние облака, багрово подсвеченные снизу закатом, и запах нефти и шпал, и дымы по горизонту, и купы деревьев за вокзальными зданиями, черные, вырезанные по красному, — все словно толкнет в грудь.

Но как давно это было... Мохнатые зарева широко прорезают тьму на горизонте, багровый отблеск дрожит на проселочных дорогах, в зрачках солдат, шагающих по обочине... Зарево ближе; разваливаются, трещат, будто выворачиваются в пламени дома, дымом затянуты сады, остро, горячо пышет в лицо жаром, и везде этот огонь смерти: на брусчатке уже забытых по названию городов, на осколках витрин, на пряжке ремня безобразно раздутого трупа немецкого солдата, лежащего на площади со странно вывернутой под голову рукой, с красным от по жара стеклом часов на запястье... Город горит, он пуст.

Мы входим в этот пылающий город. На нас дымятся влажные плащ-палатки, дымятся холки лошадей. Мы прикрываем их попонами. Мы идем вперед.

Потом выкатываем орудия на прямую наводку. Немецкие танки, мрачно блестя в зареве броней, точно облитые кровью, медленно отходят за посадку, на шоссе, поджигают окраины. Видно, как зажигательные трассы

впиваются в крыши деревянных домов и занимаются огнем стропила.

Мы идем на запад от Сталинграда по снежным степям, металлически скрипящим под ногами в стужу, пестро-черным от воронок, проходим по земле Украины, где помидоры имеют привкус пороховой гари, а яблоки запеклись на обуглившихся яблонях. В темные, осенние, ветреные ночи мы форсируем Днепр, эту реку, озаренную ракетами, по которой плывут трупы, касаясь наших плотов. И между боями, во время короткого отдыха, «на пяточках» правобережных плацдармов лежим, греясь на осеннем солнце, видим, как в желто-золотистых лесах Левобережья встают дымы разрывов, разрушая первозданный покой осени, и листья вместе с осколками летят в густо-синюю воду. Мы думаем: хорошо, если бы в эту воду шлепались поплавки удочек. После лежим на краю окопов, черные, закопченные толовой гарью, в пропотевших гимнастерках, и видим, как косяк «юнкерсов» с тугим гулом разворачивается над переправой.

Мы идем через Польшу; весь горизонт в пожарах; с карпатских высот улицы городов казались нам огненными реками, площади — пылающими озерами. Отступая, гитлеровцы хотели оставить после себя безлюдные пространства.

Если горе имеет свой запах, то война пахнет огнем, пеплом и смертью.

Война — это пот и кровь, это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последний сухарь во взводе, разделенный на пятерых оставшихся в живых, это котелок ржавой болотной воды и последняя сигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы, наводчик, глядя на ползущие танки.

Война — это письма, которых ждут и боятся получить; и это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу и смерти; погибшие молодые жизни, непрожитые биографии, это несбывшиеся надежды, ненаписанные книги, не совершившиеся открытия, невесты, не ставшие женами.

Иногда я вижу, как дети играют в войну; в их понимании война — лишь романтика и подвиги. У детей нет той памяти опыта, что есть у взрослых.

В войну мое поколение научилось и любить и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. Мы научились ценить то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным: случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, смех ребенка, впервые сказанное слово «жена» и самостоятельное решение.

Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, от которого один шаг до предательства.

Наша память — это душевный и жизненный опыт, оплаченный дорогой ценой.

Вот почему, когда по случайным ассоциациям — то ли скрежет трамвая на поворотах, напоминающий свист тяжелого снаряда, то ли похожая на пульсирующий огонь пулемета вспышка автогена в каркасе строящегося дома — память возвращает нас к дням войны, мы начинаем больше ценить тишину, спокойный блеск солнца, прозрачность воздуха.

## ГОРЬКИЙ ПОТ И КРОВЬ ВОЙНЫ

*(из книги «Мгновения»)*

### Пыль

...Уже месяц была жара, воздух над училищным двором раскалился так, что ощущался сквозь потную гимнастерку, — духота скапливалась над пропеченным гравийным плацем. Иногда за окнами, замутняя тополя, вставала серая длинная стена — вдоль улицы ползла поднятая военными машинами пыль и переваливалась через заборы, не оседая. Курсанты, загорелые, пропыленные (все время хрустело на зубах), — готовились к экзаменам в классе артиллерии и поминутно выбегали в умывальную, глотали, пахнущую жостью воду из кранов. В классе же помкомвзвода лениво стучал мелом по доске, рисовал схемы огня, смятым носовым платком вытирая пот с красной шеи. Пятна пота выступили и под мышками, расплываясь полукружьями на выгоревшей гимнастерке, а мальчишеские лица курсантов казались отупело-сонными.

И это ощущение зноя и испытал снова, когда по непонятной связи вспомнил вдруг незнакомую женщину, которая стояла возле проходной училища, разговаривала с оживленным офицером в новом кителе, улыбалась ему и загораживала его раскрытым зонтиком от накаленной пыли.

Этот молодой офицер командовал нашей батареей.

Через неделю мы были направлены под Сталинград, и я уже не видел его в живых.

Кто она была ему? Жена? Невеста? Сестра? И помнила ли она тот миг, когда хотела зонтиком защитить и его и себя от огненной пыли?..

### Нас было много

...Сразу похолодало, поднялся ветер, снег шуршал в чехлах орудий. Еще фосфорически тлела, не дотлевая, в недосыгаемой, как прошлое, рваная полоса заката, но и ее душила темнота, заволакивало дымом, пеплом сгоревшего жилья; ветер нес, раздирал голоса команд возле машин, орудий, лошадей, и казалось — там непрерывно происходило какое-то кругообразное завораживающее движение, однако удаляясь и удаляясь к угольно-красной щели заката, где обрывалось...

Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые, не ощущая угрозы непоправимого одиночества.

Но какая безысходность песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда, за той щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне.

### Атака

— Что такое атака, спрашиваешь? А ты послушай. Вот перед нами шоссе Москва — Воронеж, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так: броском через шоссе перескочить, ложбину перебежать, взобраться на гору, а на горе врытые не-

мецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе. Ну а за горкой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь — рубит насмерть. Но комбату одно: взять завод — и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать, и по этому случаю роту я на себя принял — больше некому. А атака в полный день была — все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился — дым, разрывы, стоны, крики раненых.

Понял: в лоб завод не возьмем, на самоходки дуруломом попрешь — всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем похоронки!» И — как угадал в этом соображении. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода, а в овраге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голоса орем, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем. А завод — вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, об железо в ключья вкось и поперек разодрано, — и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать.

Помню: пылища в каком-то цехе, спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылищу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата, вижу

вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах — повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди, мол, контузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся, не волнуйся, месячишко поремонтировали — и опять «вперед»...

### На рассвете после боя

Всю жизнь память задавала мне загадки, выхватывая, приближая часы и минуты из военного времени. Сегодня вдруг явилось раннее летнее утро, расплывчатые силуэты подбитых танков и около орудия два лица, заспанных, в пороховой гари — одно пожилое, хмурое, другое совсем мальчишеское — увидел эти лица до того выпукло, что почудилось: не вчера ли мы расстались? И дошли до меня их голоса, как если бы они звучали в траншее, в нескольких шагах:

— Утянули, а? Вот фрицы, тудить иху муху! Восемнадцать танков наша батарея подбила, а восемь осталось. Вон, считай... Десять, стальить, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.

— Как же это? И мы — ничего?..

— «Как, как!» Раскакался! Зацеплял тросом и тянул к себе.

— И вы не видели? Не слышали?

— Почему не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слышал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошел, капитану

доложил: никак, опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, все равно не утащат, скоро вперед пойдём. Стальть, двинем скоро, школьная твоя голова!

— Ах, здорово! Веселей будет! Надоело тут, в обороне. Страсть надоело...

— То-то. Глуп ты еще. До несурзости. Наступление вести — не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает и таким гусарам, как ты...

Странно, в памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. Фамилия же молодого исчезла, как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

### **В окружении. Рассказ лейтенанта**

— Всю ночь песни и крики какие-то слышны были, аккордеон играл, похоже, гулянье у немцев. Утром три фигуры появляются у них на бруствере: две женщины, а посередке офицер немецкий. В бинокль вижу: одна чернявая, грудастая, другая — беленькая, с косами, как девочка. И офицер, графин со шнапсом или самогоном в руке держит. Чернявая виляет бедрами, обняла беленькую, кричит таким звонким голосом: «Не стреляйте, нас послушайте. Мы под большевиками корочку хлеба имели, а теперь при германцах живем хорошо, водку пьем и вам предлагаем!» И указывает на графин в руках офицера. Мой политрук шепчет: «Срежем фрица, а лейтенант?» А у нас две снайперские винтовки, у меня в командирском окопе. «Нет, — говорю, — немца успеешь,

никуда не уйдет. Баб-предательниц. Я левую, ты правую». А чернявая кричит: «Переходите к нам, мы вас в чине повысим, любить будем и командовать дадим!» Я взял в прицел ее. Вижу — смеется, а сама волнуется, тискает за плечо беленькую, а та прижалась к ней, ровно к защите. «Огонь по сволочам-бабам!» — команду. Я черненькую снял. Так и повалилась. Политрук беленькую. Офицер повернулся и бежать. Я его возле самой траншеи настиг.

...Сто пятьдесят человек в моей роте было, двадцать пять пулеметов, шесть командиров и медик-лейтенант. Обрато к своим один командир взвода вырвался и трое солдат, со мной — пять. В сорок четвертом под Яссами командовал я отдельной штрафной ротой.

Помимо наших орудий, шесть батарей немецких. Раз попробовали у меня отобрать пушки немецкие, как по уставу лишние. Я говорю: «Не вы мне трофеи дали, я их в бою кровью отбил. И их же снарядами крошить зверей буду». В общем, что-то со мной случилось после непонятных тех баб. И тогда в сорок первом, когда прорывались мы ночью, бежал я по разбитой дороге в лесу, за мной бойцов четверо, бегу, стреляю, а сам думаю:

«До нас, чертей, миллионы людей умирали. Не мы первые, не мы последние. Но кто ж те бабы? Силой иль пряником их заставили? Или как? Может, не виноваты они?..»

## Женственность

Мы ждали своих ребят из поиска.

Никогда не забуду ее лицо, склоненное над рацией, и тот блиндаж начальника штаба дивизиона, озарен-

ный двумя керосиновыми лампами и бурно клокочущим пламенем из раскрытой дверцы железной печки, отчего по блиндажу, чудилось, ходили волны обжитого на короткий срок покоя. Вверху, над накатами, — звезды декабрьской ночи, ни одного выстрела, успокоенность сонного человеческого часа. А здесь, под накатами, лежали мы на нарах, и, засыпая, сквозь дремотную паутинку, я первый встретил разведчиков.

Они вернулись, когда все в блиндаже спали, обогретые печью: вдруг звонко заскрипел снег в траншее, раздался за дверью всполошенный оклик часового, послышались голоса, хлопанье рукавицами.

Когда в блиндаж вместе с морозным паром ввалились, затопали валенками двое рослых разведчиков, с накаленно-багровыми лицами, с заиндевелыми бровями, обдав студеным инеем маскхалатов, когда ввели трех немцев-языков в зимних каскетках с меховыми наушниками, в седых от снега длинных шинелях, когда блиндаж шумно заполнился топотом ног, скрипом мерзлой одежды, дыханием людей, наших и пленных, одинаково прозябших в декабрьских полях, я вдруг увидел, как она, радистка Верочка, будто в оцепеняющем ужасе, встала у своей рации, опираясь рукой на снаряжный ящик, увидел, как один из пленных, высокий, показал в заискивающей улыбке молодые зубы, поднял и опустил плечи, как бы желая погреться в тепле, и тут Верочка, кривясь дрогнула лицом, ее волосы мотнулись над сдвинутыми бровями, и, бледнея, она шагнула к пленным, как в обморочной замедленности расстегивая на боку маленькую кобуру трофейного «вальтера».

Немцы закричали заячьими голосами, и тот, высокий, инстинктивно защищаясь, суматошно откатнулся с разъятыми предсмертным страхом глазами.